



## П. Д. БОБОРЫКИН

### Письма о Москве

#### I

Столица или областной город? — Кто им правит. — Дворянство и купечество. — Два движения. — Новая буржуазия

Что такое Москва? Столица или губернский город? Ответить на этот вопрос можно не сразу. Даже коренной москвич, родившийся тут и практически изучивший характерные стороны своего родного города, не всегда верно определяет тот тип, по которому сложилась *теперешняя* Москва. Тип этот заслоняется очень многими вещами. Во-первых, огромной исторической ношей Москвы, ее вещественными памятниками, обликом самых живописных и своеобразных частей ее, всем старым обиходом, проявляющим себя до сих пор во множестве подробностей ее быта, не домашнего, не частного, а земского, общественного. Стоит видеть какую-нибудь процессию, крестный ход или большой праздник, чтобы почувствовать сейчас эти исторические наслоения. Но не о том веду я речь. Так или иначе, с большой историей или без нее, *теперешний* город получил свою физиономию. Типу столицы он не отвечает, как бы его ни величали «сердцем России», в смысле срединного органа. Москва не центр, к которому приливают нервные токи общественного *движения*, высшей умственной культуры. Из нее многое не исходит. Ее следовало бы, скорее, считать центральным губернским городом или, лучше оказать, типом того, чем впоследствии могут оказаться крупные пункты областей русской земли, получивших некоторую обособленность. Остов губернского города сквозит здесь во всем. Москва неизмеримо больше Петербурга живет *для себя* в том, что составляет область нравственных интересов. Отсутствие высших административных учреждений делает то, что в Москве вовсе не

имеют претензии давать толчок всей остальной государственной машине и даже влиять на многое, не носящее официального характера. Рамки губернского города не позволяют идти далее местных интересов городской жизни, которая сложилась хоть и в больших размерах, но почти так, как она идет в бойком провинциальном городе, где есть, например, университет, порядочный театр, обширное городское хозяйство. Выезжайте на Театральную площадь. Вот вам центральный пункт общественной жизни этого губернского города. Где москвич в зимний сезон проводит свои вечера? В здании Благородного собрания. Прибавьте к этому два театра, стоящие рядом, и вы резюмируете собой почти всю общественность Москвы. В доме Благородного собрания даются и балы, и маскарады, и концерты, и публичные чтения разных обществ и кружков, дворянского сословия и клуба, помещающегося тут же. Всякое официальное торжество, прием, поздравления, торжественные годовщины устраиваются по типу губернского города. Сословный характер резче. Человеку, привыкшему к прежним порядкам, здесь все еще удобнее себя чувствовать, — как будто живет еще тот склад общества, который воспитал дореформенных людей. Поэтому каждый москвич, много выезжающий, встречается постоянно с одними и теми же лицами. То, что составляет выдающуюся публику, бывает везде. Все знают друг друга, если не лично, то поименно и в лицо. Рассчитывать вы можете всегда почти на один и тот же персонал и в заседании ученого общества, и на публичной лекции, и в концерте, и в спектакле. Все, что случается в думе, или в университете, в театральном мире, в консерватории — делается сильнее предметом всеобщих толков, чем в Петербурге, — все равно, как в большом губернском городе.

Но *эта* Москва составляет только одну пятую «первопрестольной столицы». Рядом, бок о бок с ней и, так сказать, под ней развилось другое царство — экономическое. И в этом смысле Москва — первенствующий центр России, да и не для одной России имеет огромное значение. Помню, года два тому назад, ехал я по Николаевской дороге. В вагоне, рядом со мною, провел ночь какой-то иностранец, и к утру мы с ним разговорились. Он оказался французом, родившимся в Америке. Имеет он на юге Франции плантацию шелковичных деревьев и фабрику. Оказывалось, что он два раза в год ездит в Москву. Зачем? Вы думаете, продавать шелк и шелковые материи? Напротив, покупать шелк-сырец. И он мне назвал главную московскую фирму по этой специальности, прибавляя, что считает ее «самой крупной на всем континенте».

Вот в чем Москва настоящая столица. Не город вообще, а «город» в особом московском значении, т. е. тот, что обнесен стеной и примыкает к Кремлю — центральный орган русской производительности. Он питает собой и городское хозяйство; но его значение исчерпывается не пределами этого губернского города, а пределами всей империи. Это — громадный мир, приемник многомиллионной производительности, проявившей собой все яркие свойства великорусского ума, сметки, мышечной и нервной энергии. На исследование этого приемника надо положить долгие годы. Он-то впоследствии и выльется в особого рода столицу все-российской промышленности и торговли, как Нью-Йорк стал по этой части столицей Американских Штатов.

Но эта подпочва Москвы не может еще придавать физиономию высшей культурной жизни города, его умственному строю, о чем я хочу поговорить в этом письме. Столетиями накоплялись богатства, строились фабрики, затевались огромные дела, и к концу XIX века торгово-промышленная Москва сделалась, в одно и то же время, и Манчестером, и Лондоном, и Нью-Йорком. Но купец, промышленник, хозяин амбара и сиделец ножовой линии стояли совершенно в стороне от интеллигентного быта Москвы, имеющего свою историю, во многом не похожую на петербургскую. До шестидесятых годов нашего века читающая, мыслящая и художественно-творящая Москва была исключительно господская, барская. Петербург в этом отношении гораздо раньше эмансипировался. Припомните самые блестящие эпохи умственного движения Москвы с конца прошлого столетия. Оно группировалось около университетских кружков, театра, и везде на первом плане стояли господа или же худародные люди, прошедшие через образование, которое тоже считалось господским, барским. И чиновничество почти не участвовало в этом, в противоположность Петербургу. До шестидесятых годов интеллигентный москвич был человеком более независимым по положению, почти всегда не служащим, имевшим возможность целыми годами сидеть над книжками и проводить время в разговорах и прениях. В Москве больше чувствовалась настоящая умственная аристократия, не нуждающаяся ни в каких повышениях по службе, ни в каких особенных общественных отличиях. Купец, промышленник, заводчик и хозяин амбара за все это время стоял там где-то; в «общество» не попадал, кланялся кому нужно, грамоте знал еще плохо и не далее как двадцать пять лет тому назад трепетал не только перед генерал-губернатором, но и перед частным приставом. В последние двадцать лет, с начала шестидесятых годов, бытовой мир Замоскворечья и Рогожской тронулся: детей стали

учить, молодые купцы попадали не только в коммерческую академию, но и в университет, дочери заговорили по-английски и заиграли ноктюрны Шопена<sup>1</sup>. Тяжелые, тупые самодуры переродились в дельцов, сознавших свою материальную силу уже на другой манер. Хозяйство города к половине семидесятых годов очутилось уже в руках купца и промышленника, а не в руках дворянина.

Произошло два движения: одно — снизу вверх, другое — сверху вниз. Мануфактура, амбар, банк и лавка все больше и больше поднимали голову не в умственной жизни, но в жизни городской, по своему материальному, а затем и общественному влиянию. Дворянство оставалось численно почти то же (стоит только узнать число шаров на московских губернских выборах), живет в тех же наследственных домах с своими титулами, тоном и разными другими услаждениями тщеславия, но фактически все более стушевывается; а теперь в управлении города Москвы почти что не участвует и не может теперь уже тягаться с тем, что прежде называлось просто «бородой». Не только оно не попадает в те должности, куда выбираются купцы, но и в жизни-то, в привычках, в удовольствиях, в тратах, поднимающим внешнее обаяние, должно все больше и больше уступать. В течение зимы, если говорят о каком-нибудь бале, поразившем всех роскошью и хлебосольством, то это будет купеческий, а не дворянский бал. Тягаться с некоторыми коммерсантами, поднявшимися уже до барского тона и привычек, нет возможности. И дворянские улицы гложут, больших приемов нет, ничего почти не затевается, чтобы хоть по наружности поддерживались прежние традиции роскоши и шири. Средства все уплывают, именья продаются, расходы сокращаются с каждым днем, у сословия нет как бы почвы под ногами, ему сделалась неприятна эта старушка Москва грибоедовских времен, та Москва, то общество, где когда-то не чуялось и запаха купеческого. А миллионер-промышленник, банкир и хозяин амбара не только занимают общественные места, пробираются в директора, в гласные, в представители разных частных учреждений, в председатели благотворительных обществ; они начинают поддерживать своими деньгами умственные и художественные интересы, заводят галереи, покупают дорогие произведения искусства для своих кабинетов и салонов, учреждают стипендии, делаются покровителями разных школ, ученых обществ, экспедиций, живописцев и певцов, актеров и писателей. В последние двадцать лет завелась уже в Москве своего рода маленькая Флоренция, есть уже свои Козьмы Медичи<sup>2</sup>, слагается класс денежных патрициев и меценатов. И чисто внешнее их че-

столюбие принимает гораздо более крупные размеры. Теперь уже коммерсанту, играющему роль, недостаточно повесить Станислава 2-й степени, давайте ему действительного статского советника и «Анну» через плечо. Если же он не особенно бьется из-за чинов и крестов, то пожалуйте ему настоящее влияние и почет, популярность и даже славу. Он вкусил уже сладкого яда газетной рекламы, репортерских упоминаний, похвал. Он сам сочинит нам целую автобиографию и пустит ее в виде брошюры перед выборами в городские представители. Его высшая мечта — прослыть за человека умного, иногда либерального, способного играть со временем политическую роль, не уступающего ни в чем «господам дворянам». И рядом с мелкими честолюбцами, рядом с грубыми инстинктами чванства, выплывают и входят в жизнь разные попытки, уже прямо связывающие мошну, амбар и фабрику с миром идей, с мозговой работой. Издаются книги, заводятся библиотеки, покупаются редкие рукописи, наконец, основываются журналы и газеты на купеческие деньги и к ним привлекаются все наличные интеллигентные силы Москвы.

Все это сделалось на наших глазах. В это время дворянство только будировало или примазывалось к реакционным направлениям нашей прессы и литературы, тратило свои доходы так же зря, как и прежде, скучало и хандрило, жаловалось и ничего не предпринимало. Куль муки, штука миткалю, даже винный склад или трактирное заведение по каким бы то ни было побуждениям ладились с интеллигенцией города, а члены привилегированного сословия не умели ни так ни сяк, ни личным сближением, ни предоставлением средств привлечь к себе то, что желало работать, что нуждалось в работе. Разумеется, я привожу эту параллель в общих штрихах; но она не выдуманная. Факты налицо и нетрудно предвидеть, что далее пойдет таким же образом: обыватель-коммерсант все больше будет прибирать Москву к своим рукам, и сам волей-неволей будет поддерживать и высшую культурную жизнь города, между тем как сословные обыватели Поварской, Арбата, Сивцева Вражка и других дворянских местностей, если они останутся все с тем же духом сословной реакции, обесцветят себя до жалкого вырождения.

Умственная жизнь Москвы еще более подтверждает то, что этот город — не столица, а областной центр, доработавшийся до типичности. Того, что исходит из Петербурга, Москва не может игнорировать, напротив, она в последние годы сделалась чрезвычайно чуткой к «петербургской почте». Все меры, повороты административной машины, ненастье и хорошая погода во внутренней политике — все это воспринимается интеллигентной Москвой без

прежнего, иногда напускного равнодушия или скептицизма. Но петербургская центральная машина не может отнять у Москвы ее нервных узлов, сложившихся здесь самостоятельно. Самая топография умственной жизни Москвы представляет другие очертания, но что в Петербурге сторонится и уходит на четвертый план, то здесь играет значительно бóльшую роль. Рамки губернского города сделали это и придали некоторым пунктам научной, литературной и художественной Москвы яркость и своеобразность. Петербургские толки на Невском, в клубах, в канцеляриях, на заседаниях и выставках наполовину касаются лиц, связанных с бесчисленными интересами чиновничьего и делецкого мира. Москва этого не знает. Она чутка только к общим государственным и земским мероприятиям, к тому, что отразится на всем складе русской жизни, что тормозит или двигает вперед. Но на дела и занятия москвича та или иная перемена прямо не повлияет. Он сидит под своей смоковницей, он — купец, промышленник, адвокат, банкир, профессор, актер или просто обыватель, пользующийся рентой, оброком, обрезывающий купоны, ушедший в какую-нибудь «охоту», будет ли это покупка старых книжонок у Сухаревой башни или посещение рысистых бегов.

Три сферы выделяются в умственной жизни Москвы: университет и все, что к нему тянет; литературные кружки с их органами, театр и консерватория как две половины почти одного и того же искусства. Все эти три сферы переплетаются между собой, но они составляют в Москве особое царство. Нельзя сказать, чтобы город не имел с ними никакой связи. Уже из того, что я выше сказал, всякий вправе заключить, что и бытовая, и купеческо-промышленная Москва начинает служить подпочвой интеллигентному царству. Но все-таки и университет с учеными обществами, и театр, и консерватория, и журналы с газетами, и разные кружки не могут еще все-таки придавать городу преобладающей окраски. Город этот слишком переполнен ценностями, товаром; он живет не для себя только, а как громадный амбар и постоянная ярмарка на всю Россию. Этого не следует забывать.

## II

**Университет. — Недавнее пленение. — Прилив студенчества. — Молодые профессора. — Женские курсы. — Ученые общества. — Влияние на город.**

На Моховой стоят те два больших старомодных дома, откуда идет умственное движение Москвы. Здания старого и нового

университетов повиты славными воспоминаниями. И тут уже мы не в губернском только городе. Из этих домов, с их кабинетами, анатомическим театром и лабораториями, идет влияние на всю Россию. Университет так стоит по своему топографическому положению, что должен был сделаться одним из центров города, чего в Петербурге нет. Имена, целые эпохи, множество анекдотических подробностей окружают московский университет особым обаянием. В последние два-три года молодежь приливает к нему чрезвычайно. Теперь в нем около трех тысяч слушателей. Я не стану здесь касаться никаких университетских историй, говорить о том, что происходило недавно. Все это перемелется. Хорошо и то, что университетский и студенческий быт значительно приободрился. Поваяло другим воздухом. И самостоятельность профессорской корпорации, и формы общежития студентов могут войти в более нормальные условия. Мне хотелось бы только осветить немножко связь университета с городом и его обществом. Об этом очень редко говорят в печати. Я даже и не припомню в последнее время рассказов, очерков или корреспонденций, где бы вопрос этот специально разрабатывался. Связь эта чувствуется здесь значительно больше, чем в Петербурге. Не следует, мне кажется, приписывать этого развитости московского общества сравнительно с петербургским. Тут опять-таки играют роль рамки губернского города, сравнительная бедность общественной жизни, центральное положение университетских зданий. Если Петербург о какой-нибудь студенческой истории и о каком-нибудь столкновении ректора с попечителем будет говорить три дня, то Москва протолкует три недели, а то и больше. На число образованных людей, мужчин и женщин, здесь приходится гораздо больше студентов. В Петербурге, сколько я приглядывался в последнее время, студенты живут особняком, на Васильевском острове, на Выборгской и Петербургской стороне; если бывают в обществе, то присутствие их незаметно, число других молодых людей, офицеров, чиновников, воспитанников разных специальных заведений слишком велико. В Москве же они — молодые люди по преимуществу. И на вечеринках в купеческих домах, и в среднем помещичьем сословии и, наконец, в здешнем большом свете состав кавалеров пополняется студентами. Когда даются вечера и концерты в пользу недостаточных студентов, это бывает все в том же центральном пункте московских увеселений, в Благородном собрании, и в публике, посещающей эти вечера, замечается больше разнообразия по составу, чем на таких же вечерах в Петербурге. И выходит, что, несмотря на разные предубеждения против университетской молодежи,

распространенные и в купеческом, и в дворянском слоях, все-таки связь существует, помимо идей, в виде прямых сношений, родственных и общежительных. К университетской молодежи город относится гораздо мягче, чем, например, к студентам Петровской академии. Это два лагеря. Даже между молодежью того и другого заведения есть значительный антагонизм. На «петровцев», как их называют здесь, и университет, и город, смотрят как на что-то немосковское, как на сборище пришлецов, как на отпрыск Петербурга. Кто здесь пожил, и в городе, и вблизи Петровской академии, тот это хорошо знает. Нужды нет, что университетская молодежь вызывает патриотический задор в своих соседях по Охотному ряду, в так называемых «мясниках». Самый закорузлый московский обыватель сжился с представлением об университете и об университетских порядках. Дело было бы еще лучше, если бы университет имел свой орган. У него нет собственного органа печати. Так называемая университетская газета, т. е. «Московские ведомости»<sup>3</sup>, сделалась в шестидесятых годах и в особенности на протяжении семидесятых, органом, подкапывающимся под университетские права. Она представляла собою в этом смысле совершенно скандальное зрелище. Когда что-нибудь происходило во внутренней жизни университета по вопросу или профессорской корпорации, или в быту студентов, заявления, статьи, заметки, письма появлялись, да и до сих пор появляются в других газетах, всего чаще в «Русских ведомостях», а то так в петербургских журналах. Но с переменой министра народного просвещения арендатор университетской газеты изменяет тактику и начинает по-своему подделываться к университетской молодежи, воспользовавшись недавней «историей». Я не буду вдаваться в разбирательство этих новых подходов; они показывают только, что публицисту, вроде издателя «Московских ведомостей», нужно побольше в настоящую минуту ладить с университетской молодежью, которую они, вероятно, желают выбрать орудием для борьбы с ненавистным им духом устава 1863 года<sup>4</sup>. Здесь это *вопрос*, и очень видный. В Петербурге временно какая-нибудь газета и может заняться учащейся молодежью, но все-таки не будет так продолжительно действовать в том или ином направлении.

Было бы, я думаю, гораздо больше ладу во внутреннем быте университета, если бы замечалось прямое влияние профессоров на студентов. А об этом что-то не слышно. Судя по рассказам, в конце тридцатых и в сороковых годах, вплоть даже до половины пятидесятых, талантливость и одушевление некоторых профессоров создавали не формальный авторитет, а преклонение перед



личностями преподавателей и их идеалами. Таланты дело не наживное, а прирожденное. Но их можно, в вопросе влияния на студенческую массу, заменить и многим другим. Молодежь всегда восприимчивее, когда видит, что ее страдания, интересы, нужды, даже увлечения и выходки не только понимаются, как следует, профессорами, но и находят руководство. Может быть, явилась бы более тесная связь, если бы предыдущий десятилетний период не заставил так профессорскую корпорацию заботиться о своих интересах. Тогда было не до студентов; дело шло о том, быть или не быть правам и льготам профессорского сословия. Развилась также и требовательность в слушателях, и о прежнем блеске, горячности и своеобразности некоторых кафедр уже не слышно. Но чтобы убедиться, как студенты отзывчивы на все, что тот или иной профессор вносит живого, истинно научного, серьезного в свои лекции, стоит только походить к лучшим профессорам таких кафедр, где фактическое знание должно быть освещаемо тем или иным направлением, например, на юридическом факультете.

Связь города с университетом чувствуется также и на каждом университетском торжестве, на каждом диспуте. Здесь это более интересный пункт сбора, чем в Петербурге, все по тем же причинам. Правда, публика, посещающая диспуты, всегда одна и та же. Она представляет собою небольшую кучку сравнительно с массой, не знающей ни о каких диспутах; но состав ее разнообразнее. Даже в сословном дворянском обществе вы найдете несколько семейств, мужчин, незамужних женщин, девиц, которых вы всегда увидите на университетских актах и диспутах, между тем как в Петербурге так называемое «общество» очень редко посещает то и другое. Ближе всего к студентам стоят, разумеется, слушательницы Высших женских курсов и так называемых Курсов профессора Герье<sup>5</sup> (род исторического факультета), и Лубянских курсов, где читаются преимущественно естественные науки. Женский взрослый учащийся персонал и здесь меньше, чем в Петербурге — он еще в зародыше. Здесь нельзя молодой женщине ни добиться профессионального диплома, как, например, на Петербургских медицинских курсах, ни даже получить совершенно систематическое образование по какой-нибудь части. В Москве, кроме того, надо бороться с предрассудками общества. Петербургским «курсисткам» нет дела до того, как на них смотрит «свет». А здесь толки в дворянских слоях и кружках все-таки дают тон. Слово «курсистка» произносится еще множеством московских обывателей почти с гримасой. А между тем, состав слушательниц Высших курсов вовсе не щеголяет какими-нибудь

так называемыми «нигилистическими замашками» в costume, в манерах, даже в образе жизни. На Курсы профессора Герье начинают, однако, ездить, да и не мало, дам и девиц из «общества». История, литература, вообще словесные предметы в их глазах менее заподозрены, чем математические и естественные науки. Но нельзя надеяться, чтобы в скором времени поддались пред-рассудки здешнего «монда». Московское высшее общество хоть и пообеднело и должно уступать купцам управление городом, все еще держится своего круга довольно ревниво. Стоило только прислушаться к толкам по поводу недавних выборов в губернские предводители, чтобы увидеть, как еще живуче здесь кастовое чувство. В известные места, будут ли это курсы или зала какого-нибудь клуба (что бы там ни читалось), дама из высшего дворянского круга не повезет дочерей и сама не поедет. Они могут снизойти до посещения больших купеческих балов и раутов, но желают во всем и везде отделять себя резкой линией от того, что французы называют «Le commun vulgaire» \*. От безделья занимаются они благотворительностью, устраивают спектакли и лотереи, но больше частным образом раздают билеты между собою и копошатся в одном и том же кругу. Интеллигенция существует для них только в виде салона издателя «Московских ведомостей». Да и то вы можете услышать от какой-нибудь фрондирующей барыни вопрос: «Что же такое, в сущности, г. К.? — Газетчик». Но салон посещается. Это принято, и только в самое последнее время некоторые ревнивые охранители дворянской прерогативы начинают находить, что любимый их публицист что-то слишком анализирует смысл и значение дворянства.

Профессорская корпорация занимается своим делом, но нельзя сказать, чтобы она сильно участвовала в интересах студенчества. С развитием более свободных форм университетского быта это должно осуществиться. Но пока во всем умственном движении Москвы вы все-таки чувствуете университетский элемент. Это — кадр, откуда берутся люди, способные работать, представляющие собой двигательный элемент. Без университета немислима и жизнь здешних ученых обществ. Университет же дает пристанище и обществам вроде «любителей российской словесности». Не его вина, если эти «любители» доживают век в полнейшей апатии и даже сделались для Москвы предметом постоянных шуток и острот. В помещении университета же происходят и заседания Московского юридического общества, едва ли не более других возбуждающие умственную жизнь тех, кто

---

\* «Низкое общество» (фр.). — *Ред.*

не хочет засыпать и давать себя засосать бытовой трясине. И как только читается какой-нибудь реферат по живому вопросу, сейчас же зала заседаний переполняется публикой, не одним студенчеством, но и посторонними, в том числе, и женщинами. Публика позволяет себе даже вмешиваться с выражениями симпатии или неодобрения. Это, быть может, не совсем удобно в заседаниях ученого общества, но во всяком случае, показывает, что аудитория живет.

Когда вы год-другой ходите на разные заседания, чтение рефератов, сборища интеллигентского характера, вы придете к тому выводу, что Москва дает всем проявлениям умственной жизни оттенок большей искренности, чем это чувствуется в Петербурге. И оно понятно. Если здесь кто занимается чем-нибудь, так не спеша, в интересе самого дела. Он не раздраем так на части, как в Петербурге; у него гораздо больше свободного времени. Самая бедность общественной жизни сосредотачивает темперамент, волю, охоту к тому или иному делу и вопросу. Вы бываете иногда поражены, встречая в Москве людей, живущих тихо, безвестно, иногда даже на службе, и в то же время предающихся какой-нибудь специальности долгие годы. С вами говорит скромный учитель или пожилой чиновник в отставке, или просто мелкий домовладелец, а окажется, что он собиратель, библиограф, исследователь раскола или специалист по известному отделу антропологии. Их немного, таких москвичей, но они несомненно существуют, и весь склад московской жизни способствует их нарождению.

Еще так недавно профессорская корпорация находилась в чистом пленении. В совете властвовал один из издателей «Московских ведомостей». И после его смерти не сразу подняли голову те, кто радел о независимости корпорации. Кампания эта окончена, и победоносно. Одни писали, знакомили лучшую долю русской публики с продолжительными подвохами министерства и здешних его пособников, другие действовали на месте. Внутренняя борьба происходила полегоньку, без шума и скандала. Отношения с высшей администрацией были очень натянуты, но все-таки дух со Страстного бульвара исчез во всем, что исходило от совета профессоров. Немало этому помог прилив новых сил, особенно в персонале юридического факультета. Кафедры заняли люди шестидесятых годов. К ним присоединилось еще два-три молодых профессора, из семидесятых. Образовалось ядро более свежих людей. Это меньшинство начало придавать университету его теперешнюю умственную физиономию. И в Петербурге стали говорить о кружке «молодых московских профессоров»,

искать их сотрудничества, интересоваться ими. В то время, как Петербург приютил у себя такого поборника философского мистицизма, как автор диссертации, направленной *против* положительной философии, в Москве, несмотря на его родство и связи, он не мог попасть в доценты<sup>6</sup>. Кафедра философии — в руках убежденного сторонника опытного метода, знатока английской психологии. На всех кафедрах, где разрабатываются философско-политические и общественные идеи и руководящие принципы, мы видим людей, не имеющих ничего общего со старой метафизикой. Прежние формальные или идеалистические теории и постановки вопросов уступили место более научному социологическому методу. Если нет особенного блеска в изложении (за исключением одной или двух кафедр), то это искупается прочностью научно-философского направления. Все стороны правовой и социальной жизни обрабатываются методом естествоиспытателей, а не догматиков. Всего больше пишут и думают в этом кружке молодых профессоров. Из него выходит общение со всей русской развитой публикой, но персонал его все-таки невелик. Тем энергичнее могли бы они действовать на своих слушателей и готовить в их среде целый ряд передовых поколений. Московская жизнь имеет то преимущество, что она позволяет профессорам отдаваться своим трудам спокойно, нет таких соблазнов, как в Петербурге, где иному, особенно на юридическом факультете, представляется случай читать в двух-трех заведениях. Меньше приманок для тщеславия; работы идут своим путем; мысль зреет и развивается самостоятельно; так называемая злоба дня не смущает. Но зато Москва даст скорее человеку усесться, затянуться в свою бытовую жизнь, распусться, уйти от того контроля, какой представляет город с более развитой общественной жизнью. Профессора живут своими кружками. Это понятно. В них развивается умственная требовательность. *Обывательский* мир Москвы может представлять интерес, скорее, для беллетриста. Не очень-то приятно вращаться между мужчинами и женщинами, с которыми не имеешь ничего общего. Кружковая жизнь может скоро сама себя исчерпать и перейти иногда в корпоративную замкнутость. Идеи, умственная работа ограничиваются кабинетами и аудиторией, а в разговорах начнет преобладать чисто профессорская суэта: факультетские толки, пересказы, мелкие соображения, все то, что заключает в себе зародыши интриги и мелочности.

Без науки и умственного руководства не обойдется, в конце концов, и обывательская Москва. Мы уже и видим, что профессоров привлекают к разным сторонам общественной дея-

тельности; некоторые из них выказывают таланты, в обращении с коммерсантами, умеют заинтересовать их, заставить жертвовать в пользу научных предприятий, обществ, коллекций. Приглашаются профессора и в разные комиссии, по железнодорожному делу, по исследованию быта фабричных рабочих; попадают они и в гласные думы. Другой вопрос, в какой степени такая общественная деятельность согласима с упорным кабинетным трудом. Но этим путем научная интеллигенция города только и может влиять на самую жизнь. Этим путем будет парализоваться то предубеждение, которое в последние пятнадцать лет дворянские кружки имеют против сословия здешних профессоров. Наступит, быть может, и довольно скоро, такой момент, когда все, что есть в университете выдающегося, будет привлечено к разным видам публичной деятельности в прессе, журнализме, городском хозяйстве, во всевозможных комиссиях. Это произойдет все-таки от бедности интеллигентного персонала, потому что вне университета не сложилось здесь класса работников по умственному труду, потому что дворянство, со своим сословным духом, только будирует, и хороших представителей земства очень мало. Купеческо-промышленный мир, захватив управление города в свои руки, держится, главным образом, своей мошной, а не познаниями, не широкой развитостью.

### III

**Литературная Москва. — Старые клички. — Консервативный лагерь. — Новые органы. — Есть ли здесь литературное движение? — Крупная и мелкая печать**

У Москвы есть своя литературная история. Было время, когда каждый москвич, прикосновенный к писательскому миру, смотрел на Петербург свысока, и он был по-своему прав. Целыми десятилетиями тянулись полосы, когда в Москве не только жили и писали люди крупнейших дарований, но и давали на всю Россию толчок движению литературных идей. И делалось это хоть и в связи с университетской наукой, но самостоятельно. Философией, художественной критикой, историей искусства, целым рядом литературных вопросов занимались москвичи, и не принадлежавшие к университетской корпорации. Я еще лично знавал старожилы Москвы, доказывавших, что Петербург не родил ни одного даровитого писателя, что без людей, развившихся в Москве, он никогда бы не додумался до того, что сделалось теперь обиходом его интеллигентной жизни. Фигура Белинско-

го стоит тут, разумеется, на первом плане. И в самом деле, отчето же нибудь да вышло так, что еще в начале 30-х годов московские кружки молодежи могли выработать таких бойцов мысли, вкуса и передовых идей, как Белинский и Герцен. Выйдя из университета, они продолжали развиваться в воздухе сочувственного приятельства. В этих кружках читалось то и думалось так, как тогдашний Петербург и не дерзал ни читать, ни думать. И все это шло без перерыва до пятидесятих годов, с бóльшим или мёньшим блеском, смотря по внешним обстоятельствам, по гнету, исходившему из Петербурга же. Два лагеря, сделавшихся историческими, тогдашние западники и славянофилы, были также московского происхождения. А они вбирали в себя два течения русской мысли, которая в то время в Петербурге пробавлялась более искусственными, наносными оттенками. Но движение не пошло органически дальше конца сороковых годов или, много, начала пятидесятих. Петербург перетянул; он взял всю почти работу Москвы и к концу пятидесятих годов заварил свою кашу. Крупные таланты сошли со сцены, создатели славянофильства перевелись, лучшие бойцы московского западничества или переехали в Петербург, или доживали свой век за границей, или просто одряхлели и даже (таких примеров несколько) перешли в лагерь людей, брюзжащих на все молодое. Такие экземпляры до сих пор водятся здесь, и вы с изумлением вспоминаете, что вот этот реакционный ворчун был в дружеских отношениях с людьми, давшими толчок всей молодой России. Они не успели вовремя умереть.

И вышло так, что к концу восьмидесятих годов настоящих нервных центров литературного движения в Москве не оказалось. Здесь проживали два-три крупных литератора, но их местопребывание — вопрос чисто личный или, лучше сказать, бытовой. Около них ничего не группировалось. Это можно сказать о недавно умершем авторе «Тысячи душ» или же о теперь еще живущем авторе «Свои люди — сочтемся»<sup>7</sup>. Ископаемые остатки прежнего литературного возбуждения вроде «Общества любителей российской словесности» всего лучше доказывают, как старые формы потеряли содержание. «Общество» это считает, кажется, более сотни членов. В числе их есть и даровитые, известные писатели, есть и множество мелких посредственностей, наконец, есть люди, с изящной словесностью не имеющие никакой прямой связи, т. е. нелитераторы по профессии. Но «Общество» спит и спит уже несколько лет. В течение последних трех-четырех зим оно не имело (за исключением грибоедовского) ни одного сколько-нибудь выдающегося публичного заседания. Целый

год прошел даже совсем без приглашения публики. Только на пушкинском торжестве оно заявило несколько о своем существовании. И этому нечего удивляться. В «Обществе» нет ядра, нет центра, нет людей еще свежих, представляющих собой почин, идею, потребность в том удовлетворении художественного чувства и мыслительного голода, которое бывает связано с жизнью большого сочувственного круга деятелей, поддерживается развитой публикой, вызывает взаимодействие талантов и темпераментов. Ничего этого нет. Ни направления, ни программы, ни задач, ни производительности! Вероятно, и в то время, когда жили в Москве Белинский, Герцен с их друзьями, «Общество любителей российской словесности» стояло особняком и занималось разными старыми пустячками; но тогда литературная жизнь была горячим ключом. Теперь же, если бы вы и желали вдохнуть что-нибудь в такое общество, вам будет это очень трудно исполнить, потому что в Москве нет настоящей литературной жизни.

Без известного знамени обойтись нельзя. Надо выработать что-нибудь определенное, хотя и крайнее, но свежее и представляющее собою двигательную идею. А в литературе Москвы или, лучше сказать, в ее прессе и журнализме, еще перетираются старые лозунги и клички. Все более придает ей физиономию теперешняя смесь будирующего ретроградства с пошатнувшимся славянофильством или, правильнее выражаясь, русофильством. Именно смесь, а не два параллельных течения. Эта смесь произошла на наших глазах, под влиянием либеральной прессы и новых порядков русской жизни. Такое явление, в сущности, очень приятно. Прежде исповедники мистического славянофильства отделяли себя резкой линией от защитников официального status quo. Когда-то Хряков и Киреевский обижались, если к их толку кто-нибудь присоединял в печати Погодина с Шевыревым<sup>8</sup>. А теперь этого уже нет. Арендатор университетской газеты все более и более ладит с могиками, проповедующими спасение вселенной путем особого византийско-русского духовного совершенства. И в идеях они почти слились, во фразеологии также, у них — и общие враги, и одно и то же поведение во всяком кровном вопросе русской общественности. Считаю лишним приводить примеры: они известны каждому, кто следил в последние три-четыре года за нашей печатью и журналами. Теперь тот и другой лагерь слились в один стан людей, не желающих принять новые формулы и задачи жизни. Хотите в этом практически убедиться, посетите салоны, где бывают консерваторы того и другого оттенка. Везде один и тот же персонал. Сторонники «Московских ведо-

мостей» последнего пошиба должны находить привет и сочувствие у сторонников газеты «Русь»<sup>9</sup>, потому что им, в последнее время, не из чего враждовать, кроме каких-нибудь подробностей, тонкостей славянофильского мистицизма, куда еще публицист Страстного бульвара не проникал. Если на это взглянуть с сословной точки, то теперь консервативно-русофильская журналистика Москвы — литература, так сказать, дворянская. И можно установить много-много одно отличие, что в вопросах, где задемы интересы дворянских землевладельцев в их столкновениях с крестьянами, старые славянофилы и их новейшие сторонники будут говорить несколько менее сословным языком.

Не стану, однако, злоупотреблять обобщениями. Самые слова «лагерь», «стан» или «партия» слишком крупны для того, что имеется у нас в наличности в городе Москве. Это сводится к двум-трем личностям, к редакторам двух газет, имеющим литературное имя. Но я вот уже четыре года тщетно присматриваюсь к каким-нибудь новым силам этого лагеря в его разветвлениях. Где они? Недоумеваю. Все, что собирается в двух-трех кабинетах и гостиных консервативно-славянофильского оттенка, не составляет литературного кружка, как это было в тридцатых и сороковых годах. Вы мне не назовете ни одного крупного деятеля из новых, будет ли это публицист, ученый, философ, поэт или драматург, который бы воспитался в этих кружках. Даже автор диссертации, направленной против позитивизма, сложился сам по себе; его никак нельзя приткнуть к политической и общественной проповеди славянофильствующих патриотов. Он витает в своем собственном философском мистицизме. Нет новых публицистических сил в этом лагере и еще менее чисто литературного, т. е. художественно-беллетристического движения. Критики никакой, совершенное бессилие или повторение старых, избитых определений, формул эстетики тридцатых годов. Собирается обыкновенно народ из всяких сфер, недовольный новыми людьми и новыми порядками. Но создать что-нибудь они не в состоянии. Для создания нужно положительное отношение к действительности, а это все *отрицатели*, как слово это ни странно звучит, когда говоришь о московских консерваторах. Положительные идеалы славянофилов старого закала начинают теперь сводиться к курьезам, что и доказывает газета, издающаяся главным жрецом старого славянофильства. Петербург заинтересовался этой газетой. Первый номер продавался чуть ли не по рублю на Невском, но теперь уже, по выходе нескольких номеров, никто ничего не ждет от идей, проектов и декламации руководителя. Да и удивительно — чего могли ждать, кроме известного и пере-



известного? Этот интерес, я думаю, объясняется поворотом к какому-то туманному славянофильству, происшедшему в период между сербской войной и концом русско-турецкой. Тяжелые два года, 1878—1879, с половиной 1880, способствовали этому недомыслию. И в Петербурге умерший месяц тому назад даровитый романист<sup>10</sup>, — вместе с несколькими другими литераторами и простыми волонтерами публицистики, — поддерживали искусственно это веяние, о котором в шестидесятых годах и помину не было. Но лучшее средство отрезвиться, это дать славянофильским органам время истощить всю свою фразеологию. Единственный их орган показывает, что у них нет даже сил наполнить рубрики еженедельной газеты. Надо ограничиваться декламацией или давать обыкновенный газетный материал. И не будь в Москве так мало полуграмотных обывателей-купцов, квасных патриотов, огорченных помещиков и всякого ненужного люда, консервативно-русофильское направление стушеввалось бы в несколько лет. Сойди со сцены два его вожака, и тогда, если бы и печатались еще газеты этого покроя, то в них происходила бы неумелая защита одряхлевшего общественного сепаратизма. А интересы народа, проповедь во имя поднятия его материального и духовного быта до такой степени разрабатывается всей нашей прессой и литературой, что смешно брать это на откуп патриотам консервативного лагеря.

В последние два-три года произошли, однако ж, очень утешительные факты в умственной жизни Москвы, показывающие, что и старые люди, забавляющиеся византийством, должны были ладить с более здоровыми идеями. Таково нарощение журнала «Русская мысль»<sup>11</sup>. Многие думали, что это будет орган византийцев, зная, что редактор принадлежал к славянофильскому кружку. Но вышло не так. Журнал этот, как разглядели и в Петербурге, воздерживается от мистицизма, помещает статьи людей, очень либерально мыслящих, идя даже в вопросах нашего общественного развития, крестьянского быта и общинной самостоятельности рука об руку с самыми передовыми петербургскими органами. По чисто же литературному отделу он не имеет никакого своеобразного отличия, печатает, что придется, но две трети — вещи петербургских же литераторов. Но этот журнал не представляет собой группы местных деятелей писательского кружка. По критике он до сих пор нем, а это в ежемесячном литературном журнале громадный пробел; это — прямое указание на то, что здесь можно затевать толстые журналы и не иметь ничего высказать самостоятельного, свежего, руководящего по такой живой и первенствующей для писателя области, как твор-

ческая литература своей страны. Не видно и отзывчивости на местную интеллигентную жизнь. Просмотрите вы не только этот журнал, но и другие ежедневные и еженедельные органы, почитайте фельетоны, заметки, очерки — и вы увидите, что литературная жизнь до крайности бедна. Петербург вдаётся в другую крайность с его мелкой прессой. Там что ни день, то сплетня, скандальные намеки, множество лишних киваний, обличений; но все это по поводу фактов. А здесь какое-нибудь публичное чтение литераторов случается раз в полгода. Приезжай человек из провинции или Петербурга и попроси вас повести его куда-нибудь, в какой-нибудь редакционный салон; надо сказать правду, придется повести его или в гостиную одного землевладельца-славянофила или же в консервативный салон на Страстном бульваре.

Но время делает свое. Работают больше, основываются журналы и газеты либерального направления. Ни одно новое издание не обходится без участия профессоров, доцентов, молодых людей, готовящих себя к научной дороге. В течение двух лет появилось несколько новых изданий. Дешевая газета «Русский курьер»<sup>12</sup> в первое же полугодие довела свою подписку до десяти тысяч. Существующая уже более пятнадцати лет либеральная же газета «Русские ведомости»<sup>13</sup>, не меняя своего направления, поддерживается также публикой, имеет большую подписку, не прибегая ни к каким легким приманкам. С нового года выходит большая и уже не дешевая газета «Московский телеграф»<sup>14</sup>, в которой, если верить слухам, большинство сотрудников — петербургские литераторы и присылают оттуда свои статьи. И та дешевая ежедневная газета, в которой жили замашки, отзывающиеся византийской Москвой, в последнее время изменила свой тон, а это делается всегда под натиском публики. Словом, журналы и газеты либерального направления, если только они ведутся толково и бойко, могут рассчитывать на гораздо больший успех, хотя и не в самой Москве, так в районе, прилегающем к ней. Серьезные издания с специальным характером, если они ведутся суховато, рискуют здесь больше, чем в Петербурге. Пример — «Критическое обозрение»<sup>15</sup>, прекратившееся по недостатку подписчиков. Это был чисто профессорский орган, где сотрудники-непрофессора составляли самое ничтожное меньшинство. По философской подкладке, порядочности тона, специальным сведениям такой журнал составляет потребность всякой европейской периодической литературы. Но его повели так, что он мог расходиться только в университетских кружках, а в Москве у него нашлось читателей вне этих кружков неизмеримо меньше, чем

было бы в Петербурге. Бедность литературной жизни и производит эту относительную бедность интеллигентных читателей. Слишком мало толчков идет из литературного мира. Петербуржец, как он ни занят своими делами и ежедневной суетой, все-таки привык к литературному возбуждению. Он привык покупать номер газеты и еженедельного журнала. В Москве розничная продажа считается совсем невыгодной статьей даже и для бойко идущей газеты. Здесь нет артерии, как Невский, куда непременно попадешь. Пройдитесь по Кузнецкому от четырех до пяти, и вы не увидите «публики»; а уже вечером, в час театральных съездов, поражающая пустота. Прибавьте к этому то, что я сказал в предыдущей главе о меньшей численности учащейся молодежи, которая, вдобавок, страдает здесь повальной бедностью, еще более, чем в Петербурге. Каждый, кто затевает здесь журнал или газету, чувствует, как ничтожен контингент работающих людей. Еще для журнала вы найдете хороших сотрудников, опять все в тех же профессорах и в нескольких молодых людях из университетских кружков. Но для газеты вы наверное не отыщете бойкого, талантливого фельетониста, опытного, бывалого корреспондента для посылки за границу, вы будете биться, пока отыщете сносного репортера, способного вам грамотно и не бесцветно описать какое-нибудь заседание или торжество. То же самое и для театральных рецензий, и для журнального обозрения, и для целого десятка рубрик, без каких теперь газета не может идти полным ходом. Если эти виды журнального и газетного труда и выполняются в Москве, то лишь по пословице: «на безрыбье». Кроме бедности в талантах, тут много значит и вялость общественной жизни, отсутствие разнообразия в впечатлениях, неимение сфер, где бы молодой человек мог развивать свои мозговые силы, делаться остроумнее, наблюдательнее, слушать разговоры образованных и бойко говорящих людей (как это было в кружках сороковых годов); ничто не побуждает начинающего литературного работника позаботиться о своей писательской выработке. Его вкус скоро глохнет, он везде сталкивается только с обывателями, а интеллигенцию знает всю наперечет и не видит в ней никакой коллективной жизни, не одушевляется примером более даровитых людей, которые толкали бы своих сверстников вперед, затевали что-нибудь, будили местную публику. Молодому человеку, начинающему здесь свою карьеру, надо быть чрезвычайно даровитым и страстно преданным литературе, чтобы без руководства и без того поощрения, какое талант находит в бойкой, более европейской жизни города, начать пользоваться этой Москвой с художествен-

ной целью. Может быть, такой писатель родился уже, и лет через пять, а то и раньше, явится с произведением, где откроет нам новые московские миры. Таков был Островский при своем появлении. Но такие таланты приходится по одному на четверть века. Да если бы и появился теперь местный бытовой наблюдатель с талантом Островского, он бы не нашел даже того поощряющего воздуха, каким наш первый драматург мог дышать в Москве в конце сороковых годов. Тогда литературная жилка была сильнее. Такой редактор, каким был Погодин, отличался своим умением привлекать молодых людей, хотя он их и не баловал в денежном отношении. Литературные произведения с проблеском нового своеобразного таланта гораздо сильнее захватывали тогдашние кружки, страстно жившие литературой. Таких кружков теперь нет, а новый талант непременно бы нашел себе денежное и всякое другое поощрение в Петербурге, а не в Москве, особенно теперь, когда на беллетристов большой неурожай. Этого мало, что молодой, начинающий писатель понесет свою рукопись в редакцию журнала. Ему надо дать толчок и в недрах самой редакции, и в прессе. Напишет он вещь. Газет, говорящих о литературных новостях, в Москве каких-нибудь одна-две, да и то это не делается достоянием всей читающей публики города. Как бы ни была задорна и не литературна журнальная критика в иных петербургских газетах, но там все-таки сразу является много мнений, они возбуждают толки. Постоянно в Петербурге с какой-нибудь вещью начинающего писателя носят-ся, они кричат, увлекаются даже слишком большими надеждами. Здесь вы ничего подобного не увидите. Но в Москве может выходить нечто другое, гораздо более вредное для молодых писателей. Это кружковое восхваление. Знаменитое восклицание Гамлета Щигровского уезда<sup>16</sup> до сих пор еще не утратило своей правды. Когда вы приезжаете сюда и оглянитесь, вы непременно это почувствуете; не удивляйтесь только тому, кто считается в маленьких кружках авторитетом, талантом первой степени. Натура москвичей, наклонная к разговору «по душе», к сомнению, к умственной халатности и кружковой замкнутости, делает то, что вы на каждом шагу сталкиваетесь с личностями, воспитанными в себе, иногда бессознательно, уверенность в превосходстве своих приятелей над всем прочим человечеством. Оттого-то вы до сих и находите еще людей, повторяющих старые прибаутки и о Петербурге, и о Западной Европе. Правда, это покачнулось, и очень значительно, особенно в молодом университетском кружке, где все почти его члены жилали подолгу в Европе и не могут относиться к Москве с пристрастием заскорузлого

обывателя. Но даже и в самых образованных людях, когда они обживутся и сузят круг своих знакомых, чувствуются все отрицательные стороны какого-то кумовства или брезгливости ко всему, что не их кружок.

Если так беден персонал литературы, задающей серьезные цели, то что же сказать про мелкую прессу? А она уже существует здесь. Для города, для огромного населения коммерсантов, приказчиков и всякого торгового люда, для обывателей разных закоулков, уже несколько тронутых цивилизацией, что у них есть потребноот почитать, мелкая пресса могла бы иметь значение прекрасной общественной школы. На улице обыватель скорее купит иллюстрированный листок или дешевую газетку, занимающуюся городскими новостями, чем номер еженедельника или большой газеты. И в Петербурге мелкая пресса стоит особняком и жалуется даже на то, что писатели, действующие в солидных органах, чураются ее. А здесь, где и большая-то пресса сводится к очень бедному персоналу, она уже совсем оторвана и от университетских кружков, и от органов с порядочным направлением. Не так давно, например, появилось газетное объявление, в котором редакция заявляла, что по лавкам ходит какой-то самозванец, выдающий себя за фельетониста, с целью, вероятно, производить какие-нибудь поборы времен Булгарина. Мне что-то не доводилось слышать о таком факте в Петербурге. Самостоятельного направления мелкая пресса не может выработать, вероятно, потому, что ее руководители и работники вышли из слишком низменных сфер. Сатирические журналы получают тон из Петербурга, но прибавляют еще к этому местные запахи и букеты. Даже писатели, известные своим литературным образованием, вроде, например, недавно умершего издателя газеты «Развлечение», поддерживали в своей бытовой, обывательской публике вкус к довольно-таки низменным формам остроумия, сатиры, зубоскальства, позволяли своим сотрудникам нести в журнал всякую замоскворецкую грязь и скандалы трактиров, полпивных и клубов. Люди, знакомые с этими сферами прессы, рассказывают вам о всевозможных видах литературного шантажа, производимого и настоящими фельетонистами-хроникерами, и даже самозванцами. Весь этот мелкий и темный люд оторван от всего того, что есть здесь живого и руководящего в умственной среде. А между тем, из рядов этих репортеров и фельетонистов мелкой прессы иные петербургские газеты набирают своих корреспондентов. Московские фельетоны, получаемые из Петербурга, читаются здесь жадно, раздражают публику и воспитывают в ней чувство неуважения к прессе. Купец боится

обличения, но он знает, что есть такие обличители, которые сделали себе ремесло из запугивания и безобразников, и порядочных людей. И выходит, что полуграмотная масса пристращается к чтению из-за балагурства, скандала и самых печальных инстинктов.

#### IV

Театр. — Его прошедшее. — Казенные порядки. — Попытки частного антрепренерства. — Театр Б. П. Пушкина. — Консерватория. — Трактиры

Художественная жизнь Москвы сказывается все больше в театре и за последние годы в музыке. Пластические искусства здесь развиваются туго, хотя в Москве и живут главные покупатели картин и скульптурных вещей. О частных купеческих собраниях и галереях я поговорю в особом письме. Московское училище, где преподают и живопись, и ваяние, и зодчество, дало уже русскому искусству несколько хороших имен; но его ежегодные ученические выставки что-то не показывают хорошей школы, хотя между профессорами есть люди с дарованием. Петербург несравненно производительнее, тамошние художники больше ищут, разрабатывают более разнообразные роды искусства. Редко-редко встретите вы здесь художника в обществе. Чтобы знать об их работах, надо идти к ним знакомиться. Выставки посещаются, но на них нет публики, дающей художнику то общее поощрение, без которого трудно двигаться вперед, тут опять чувствуется бедность и численная ограниченность прессы. Некому поддерживать энергически художника, не ведется полемических споров, все ограничивается вялыми толками в обывательских слоях и в маленьких кружках интеллигенции.

Совсем не то театр. Он и везде делается потребностью массы. Из всех видов изящного искусства, кроме литературы, театр вошел в ежедневный обиход. А привилегия казенных театров делает то, что вся публика, любящая зрелища, должна устремляться в одно место. Что бы ни давали в здешнем Малом театре, сбор почти всегда прекрасный. Нигде не процветает так барышничество, как в Москве; это — самая выгодная отрасль уличной промышленности. В Малый театр ездят все, и все им интересуются. Даже высший дворянский круг им не пренебрегает. Вы увидите очень много таких светских женщин — постоянных посетительниц Малого театра, — какие в Петербурге ездят только в Михайловский театр, на модные вторники французских спектаклей.

Рядом с университетом, у Малого театра, славные воспоминания. Но он живет больше за счет этих воспоминаний, чем теперешней своей действительностью. Московская драматическая сцена сослужила русскому искусству две службы: во-первых, выпустила и развила несколько поколений талантливых актеров, создавших свой строй исполнения, умевших играть когда-то и Шекспира, и Мольера, и Гоголя, и Грибоедова; во-вторых, эта сцена дала Островскому полную возможность сразу перенести на подмостки целый бытовой театр. Без Садовского, покойного Сергея Васильева, Косицкой, Степанова<sup>17</sup> и других актеров и актрис Островский, конечно, не пошел бы в первые годы таким возбужденным ходом в своем художественном развитии. В Петербурге в первые годы появления его комедий Островский совсем не прививался, вплоть до постановки «Грозы». Между тем, и в Москве, как только постановлена была его «Картина семейного счастья» и комедия «Не в свои сани не садись», весь персонал прекрасных исполнителей был налицо. К этой эпохе, т. е. к началу пятидесятых годов, московская драматическая сцена была подготовлена директорами театра, о каких теперь и помину нет. Это были Кокошкин<sup>18</sup> и Загоскин. Чиновничья, сухая формалистика, равнодушие к художественным интересам, полная невнимательность к требованиям публики — вот преобладающие чувства, сравнительно с тем, что было тридцать лет тому назад. Даже в шестидесятых годах, во время управления здешней сценой г. Львовым<sup>19</sup>, все-таки чувствовалось больше почина со стороны дирекции. Теперь управляющего театрами нет, и есть только контора с простыми счетными чиновниками и начальник репертуара, заведующий, как и в Петербурге, и оперой, и балетом, и драматической труппой. Тем временем даровитые питомцы театрального училища, исполнители Грибоедова, Гоголя и Островского, сходят один за другим в могилу. Москва похоронила Щепкина, Косицкую, Живокини, Степанова, Сергея Васильева, сестер Бороздиных, Садовского, Шумского, Катерину Васильеву<sup>20</sup>. Уже более десяти лет нет и порядочного преподавания в школе, экстернов не принимают, учеников драматического отдела и совсем нет. Труппа пополнялась провинциальными актерами и начинающими из любителей. Кончи свою деятельность Самарин, за ним Медведева и Акимова со стариком Никифоровым<sup>21</sup>, из прежней труппы не останется никого. Так, конечно, идет везде; на всех сценах умирают актеры и актрисы, и таланты дело удачи, — но общий строй исполнения уже не дело удачи. Традиция, как она практикуется на лучших западных театрах, особенно в *Comédie Française*, у нас мало прививается. Она

сказывается, скорее, в однообразии общего тона, в подражании манере говорить первых актеров и актрис. Художественного руководства нет ни от начальства, ни от более талантливых исполнителей. Труппа сделалась бедна и численно, в особенности по женскому персоналу. Московский театр, не имеющий самостоятельной высшей администрации, держат в черном теле. Из Петербурга не разрешают ни хороших постановок драматических пьес, ни приема новых актеров и актрис свыше известного штата. Если в Петербурге одна любимая актриса играет каждый день, то это происходит оттого, что всякий бенефициант для сбора просит ее взять роль в новой пьесе. Здесь же одна первая любовница и один первый любовник должны дежурить бесменно; на подмогу им нет никого. Система бенефисов овладела Московским Малым театром, так же как и петербургскими драматическими сценами. Она вызывает искусственную производительность. Каждую неделю появляется на афише новая пьеса, и из этих двадцати-тридцати новинок в сезон едва-едва насчитаешь две-три вещи сколько-нибудь литературные, а остальное все переделки и самые печальные отечественные опыты. И так пойдет до тех пор, пока дирекция не рассудит назначить актерам другие оклады и уничтожить этот безобразный художественный порядок, не существующий нигде на Западе. Бенефисы испортили и публику. Прежде, т. е. лет двадцать пять тому назад, когда они были гораздо реже и когда дирекция ставила пьесы от себя, публика первых представлений, действительно, делалась школой для актеров и авторов. Теперь же бенефисы с удвоенными и утроенными ценами только лишняя приманка для барышников. Ложи и кресла разбираются денежной публикой, т. е. купцами. Но эта денежная публика все чаще и чаще бывает недовольна пьесами. За последние три-четыре года ни одна пьеса Островского не имела успеха. Дело не обходилось и без того, что называется на театральном жаргоне «провалом». Присматриваясь к этой бенефисной публике Малого театра, вы находите в ней гораздо более обывателей, чем интеллигентного персонала. Но требовательность растет. Прежний уровень игры с продолжительным давaniem бытовых пьес, хотя и талантливо написанных, сделали то, что и критическое чутье жителей Замоскворечья обострилось. Вот здесь-то, на Малом театре, и может любой начинающий драматург убедиться в том, что публика, даже наполовину состоящая из купцов, переросла своими требованиями недвигающийся вперед репертуар. Когда играли Садовский, Шумский и Катерина Васильева, то успех доставался и на долю плохих пьес, а теперь этого нет. Все, что у нашего первого дра-



матурга и его учеников, а также и у обычных поставщиков русской сцены является старого, лишнего движения, тяжелого и безвкусного, все это при теперешней посредственной игре чувствуется без малейших прикрас. В течение последнего сезона это особенно ярко сказалось при исполнении одной пьесы, написанной Островским в сотрудничестве с г. Соловьевым<sup>22</sup>. По поводу первого представления этой пьесы, провалившейся на Московском Малом театре, петербургская пресса выдумала целую небывалую историю о какой-то кабале, о предумышленном шиканье. И вообще, с некоторых пор петербургские газеты не позволяют ни московской публике, ни московским рецензентам судить самостоятельно. Претензия весьма странная. Что же удивляться, что в Малом театре, где когда-то хорошо играли (да и теперь играют, в общем, лучше, чем на петербургских сценах), где создан был целый театр бытовых пьес, художественная требовательность развилась больше, хотя в публике и значит меньше газетных репортеров. В московский Малый театр ходит постоянная публика, по крайней мере, на первые представления. Ее физиономия, наверно, прочнее сложилась, чем в Петербургском Александрийском театре. Она избалованнее. В последние два-три года эта публика и к первым актерам теперешней труппы стала относиться иначе. Первая героическая актриса, еще недавно возбуждавшая безусловные похвалы, совсем уже не так стоит во мнении публики. На простых спектаклях ее перестали уже принимать с рукоплесканиями, а это еще было три года тому назад. Не достается никаких оваций и другой молодой актрисе, и бывшая еще недавно третья любимица и совсем приелась зрителям Малого театра.

Но какова бы ни была, сравнительно с прежними блестящими эпохами, здешняя драматическая труппа, все-таки она выработала себе общий лад, известную мягкость исполнения, привычку обращаться с бытовыми пьесами. Здесь, хоть и редко, играют Мольера и Шекспира, и если бы не привычка бенефициантов добывать себе непременно переделки, а не переводы с иностранных пьес, для привлечения купца русскими заглавиями, то и переводные французские и немецкие пьесы могли бы идти здесь лучше, чем в Петербурге. По этой части русские актеры везде очень распустились. Прежде, т. е. лет тридцать тому назад, никто не рассуждал так, как рассуждают теперь: будто бы публика не интересуется иностранными пьесами, если их не перекроют на русский лад. Повторяю, это просто результат безобразной практики бенефисных спектаклей. Разве лет тридцать тому назад публика была образованнее? Разве теперь, с развитием печати,

всякий грамотный русский не интересуется больше западной жизнью, не читает больше беллетристических произведений и в оригинале, и в переводах? На этой же самой сцене Московского Малого театра, еще в пятидесятых годах, с большим успехом давали множество, правда, более плохих, чем хороших, французских пьес в переводах. И тот же купец шел, смотрел и аплодировал. Теперь же изображение замоскворецкого быта надоело Москве, пьес из жизни интеллигентного общества не пишут или пишут чрезвычайно слабые и не дают хороших вещей из новейшего европейского театра. Публика с каждым бенефисом все больше и больше тяготится и, что в особенности поразительно, это отсутствие смеха в зале Малого театра. Дают все тягучие, слезливые полудрамы, полукомедии или заезженные, приевшиеся всем водевили для разъезда. А в нашей жизни, с ее сереньким колоритом, с наклоном большинства русских к хандре и недовольству, смех был не только добрым художественным, но и общественным делом. Его нет, потому что таков репертуар и строй игры за последнее время. И актеры Малого театра, сравнительно даже с петербургскими, приобрели манеру все тянуть, так что если бы сделать опыт, то та же самая пьеса и с таким же количеством слов, дайте ее разыграть французам или немцам, шла бы непременно на одну треть скорее. Сообразите, что молодой учащейся публике, занимающей верхи и изредка — места в купонах, Малый театр служит тоже своего рода университетом. Эта молодая публика жаждет ярких ощущений и волнений, ей хочется и поплакать, и посмеяться, а она из большинства спектаклей выносит что-то среднее, смутное, большей частью тягучее и скучноватое. И все-таки потребность в литературных зрелищах так велика, что всякая не из рук вон слабая пьеса при сносном исполнении дает полный сбор.

Начальство несколько больше занимается теперь оперой. Вот уже второй сезон, как публика видит, что кое-что делается; есть новые певцы и певицы с порядочными голосами, талантливый капельмейстер-итальянец, освоившийся с русской музыкой, ставятся лучшие вещи из репертуара Мариинского театра. Даже балет оживился с выпиской из-за границы нового балетмейстера. Оперная публика Москвы все не то, что посетители петербургской русской оперы. Там уже распространено музыкальное образование. Русская опера создавалась там на глазах публики, с ее участием, поддержкой, сочувственной работой печати, после продолжительной борьбы и, надо сказать правду, с большим вниманием к развитию русской оперной сцены со стороны администрации. Москва только начинает чувствовать себя музыкальным

городом. Увлечение итальянцами бывало, как и в Петербурге, но не превратилось в настоящую модную меломанию. Здесь вы никогда не увидите слушателей, сидящих с партитурой, что в Петербурге уже не редкость. Ложи бельэтажа, бенуара и второго яруса наполняются все теми же обывательскими семьями среднего помещичества и, главное, купечества. В креслах нет кружков, как в Мариинском театре, для которых постановка новой оперы или хорошее возобновление или дебютант-певец составляют событие. Выкрикивают, хлопают и шумят только верхи, т. е. учащаяся молодежь, студенты и техники. Только с этой публикой считаются примадонны и побаиваются ее...

1881

